

Иллюзии деидеологизации

Идеологический вакуум

Почти вековое засилье советской идеологии, казалось, выработало в российском обществе устойчивый иммунитет ко всему идеологическому. Выход из коммунистического проекта воспринимался в равной мере как процесс департизации и деидеологизации. При этом деидеологизация понималась не только как освобождение от государственного идеологического монополизма и диктата конкретной идеологической системы – речь шла об освобождении от идеологии как таковой, вообще и навсегда.

Этому немало способствовал и сам марксизм, представивший идеологию как *ложное сознание*. Идеология здесь понимается как выражение и навязывание отдельными, как правило, господствующими социальными группами своего частного группового интереса как интереса всеобщего. Идеология в таком понимании – прежде всего *сознание для другого*, средство обработки мозгов, всегда предполагающее наличие вектора и пары: активного субъекта-идеолога и относительно пассивного объекта манипулирования сознанием. В пределе – вождя и массы.

Соответственно, идеология, согласно этой схеме, преодолевается, с одной стороны, в бесклассовом обществе, где не будет необходимости манипулировать сознанием угнетаемых, а с другой стороны – «научной философией», опирающейся на объективные законы развития, поверяемые живой исторической практикой. Марксизм как философия был призван раз и навсегда победить идеологию.

Однако в советском обществе (и в социалистическом лагере в целом) судьба марксизма как философии и идеологии оказалась в этом смысле парадоксальной. Подобно тому, как государство при социализме должно было отмирать, проходя период всемерного укрепления, идеология освобождала общество от деформирующего давления на сознание через стадию установления своего полного господства. Парадоксально, но именно «научная идеология» присвоила себе миссию в режиме ручного управления руководить позитивной наукой на основе умозрительных, политически заряженных постулатов.

Более того, именно в марксоидных обществах идеология господствовала не только как система идей, но и как система институтов. Критерии идеологии были высшими в принятии государственных, политических, социальных и, казалось бы, сугубо экономических, производственных, даже инженерно-технических и технологических решений. Идеология была институционализована в сложной иерархии, в том числе в форме идеологических отделов ЦК, что по типу управленческой иерархии превращало подчеркнуто светские, секулярные государства в очень близкое подобие государств религиозных (партия как церковь и как правящий орден). Генсек неизменно преподносился и как идеолог¹; секретарь по идеологии, по сути, был вторым человеком в государстве. Общеизвестно, что задачам идеологической обработки сознания были подчинены все соответствующие институты и практики, ориентированные на работу с сознанием. Но при этом идеологической обработкой сознания (то есть формированием идейной составляющей общества) в полном объеме занимались также и вовсе не идеологические институты и практики – армия, больница, социальное регулирование и вспомоществование, системы безопасности, правозащиты и наказания, институты науки и технической деятельности и т. д. и т. п., включая хозяйственную деятельность и собственно материальное производство. В определенном смысле результатами активности этих институтов были даже не столько безопасность, здоровье, законопослушание и законопорядок, знание, техника или продукты труда, сколько *правильно ориентированный и воспитанный советский человек*. Поэтому идейно-воспитательный процесс здесь сплошь и рядом был много важнее практического результата той или иной деятельности. «Причем тут борщ, когда такие дела на кухне!?».

На излете советского периода идеология пережила глубокий кризис. На месте идейных высот образовались провалы. Этот типовой эффект перехода из крайности в крайность можно назвать *самоубийством через гипертрофию*. То же, что и с идеологией, произошло с советской государственностью и имперской конструкцией, с традиционным для России отношением к власти, а также с социальными, коммунально-общинными традициями.

СССР, будучи специфической империей как отдельное государство, по сути, был и центром империи соцлагеря и тех просоциалистических сателлитов, которые поддерживались в качестве горячих точек, враждебных мировому капитализму. Идеологией этого мирового лагеря была его всемерная и всемирная экспансия. Претензии на глобальное доминирование определили тип мобилизационно-милитаризованной экономики и силу почти планетарного противостояния, что в итоге обрушило не только социально-экономический и общественно-политический режим, но и саму империю, причем как советскую, так и во многом дореволюционную. Иными словами, СССР сначала непомерно раздул, а затем, надорвавшись, похоронил под своими обломками очень многое в несущей конструкции империи, созданной в своей основе еще российским самодержавием².

В традициях России всегда была сильна роль государства. Советский режим довел эту традицию до предела этатизма, во многом перехлестнувшего границы эффективности управления и обычного здравого смысла. При этом изнутри системы (сросток «партия-государство») государство как таковое было размыто партией, оставшейся, по сути, единственным самостоятельным и самодельным (хотя и достаточно безответственным) институциональным субъектом. Государственные институты оказались поражены политической анемией и превратились в заведомо несамостоятельные, *управляемые протезы*. В результате страна получила еще один исторический перевертыш: традиционное российское государственничество оказалось подорванным в том числе и во внутривластном плане. Поэтому эмансипация государства от партии оказалась процессом отнюдь не механическим. В результате операции «государство минус партия» с уходом партии исчезла и сама опорная метафизика существовавшей системы власти, ее идеологические и даже многие организационно-дисциплинарные составляющие (оказалось, что без обычного «Партбилет на стол!»)

эта система или вовсе не работает или работает на себя). В итоге по результату департизации мы получили не эмансипированные государственные институты, а *осиротевшие протезы*. До сих пор процесс восстановления дееспособности государства (не говоря уже о самой метафизике власти) идет крайне мучительно, а в ряде отношений блокируется масштабными имитациями (когда государственные, регулятивные функции якобы восстанавливаются и даже наращиваются, но, по сути, оказываются формами сугубо частного предпринимательства под видом государственного регулирования, отправления публичных функций власти и т. п.).

Точно так же боязливость и демонстративная лояльность по отношению к власти и политике, отличавшие наше общество в перерывах между бунтами и революциями, были так утрированы на протяжении советской истории, что в посттоталитарный, а затем и в постсоветский периоды все это выродилось в полный антивластный нигилизм и столь же демонстративное отторжение власти и политики. Причем уже не только «передовой частью общества», но и на массовом уровне. Режим, державшийся на тотальном страхе, обрушился, не оставив в людях не то чтобы нормального уважения к власти, но даже привычки к соблюдению элементарных приличий во взаимоотношениях граждан и государства. (Что, кстати, проявляется и симметрично – в отношении государства к гражданам). Пока восстановление этих отношений затрагивает в основном только самые верхи власти, да и то ценой широкого захватного пиара, погружения страны в состояние непрекращающейся предвыборной кампании, непрерывной работы на рейтинг, в которой задействована едва ли не вся государственная машина.

Нечто подобное произошло и с гипертрофированным советским коллективизмом, подорвавшим традиционную российскую общинность. Коллектив в советском обществе был не только большим и теплым коммунальным телом, к которому можно было прислониться, но и предметом вторжения в приватные пространства, удушающего вмешательства в самые интимные сферы личности и частных отношений, источником опасности и угрозы, способным непрестанно следить, лезть под одеяло и копаться в белье, уничтожать морально и ставить к стенке физически. Результатом перекаченного, а затем лопнувшего советского коллективизма стала беспрецедентная атомизация общества, много перекрывшая западный индивидуализм. «Я не хочу быть членом никакого коллектива!» – одно из характер-

ных высказываний того периода. И теперь нормальному постсоветскому человеку в пору учиться навыкам социализации, взаимопомощи и коммунальной жизни у «атомизированного» Запада.

Идеология одновременно и стоит в ряду этих исторических перевертышей, и занимает в нем особое место. Если этатизм, имперскость и коллективизм имели как противников, так и сторонников, то энтузиастов восстановления государственной идеологии как таковой почти не оказалось. Либеральная власть старалась строго следовать ею же введенному конституционному запрету на огосударствление идеологии. Те же, кто в случае прихода к власти, несомненно, попытались бы в полном объеме восстановить традиции и структуры государственной идеологии, саму эту идею в общем виде не пропагандировали, поскольку подходили к вопросу строго избирательно: государственная идеология возможна, но только если это будет *наша* идеология. В результате деидеологизация в сложившейся политической конъюнктуре выглядела практически безальтернативной. Здесь проявилась своего рода ирония истории: обрушение идеологии марксизма на какое-то время обернулось торжеством его же антиидеологизма, направленного против политического носителя самой марксистской идеологии. Идеократия выродилась в идиосинкразию.

Поэтому не случайно судьба всего идеологического комплекса с самого начала нынешних преобразований оказалась в крайне сложном положении.

Иллюзии и парадоксы деидеологизации

Однако эта картина вовсе не однозначна как в свете реалий массового сознания, так и с точки зрения общей теории идеологии и конкретного анализа идеологических процессов. Прежде всего, здесь имеет смысл освободиться от ряда распространенных иллюзий.

Иллюзия первая: *«Мы отменили старую идеологию».*

На самом деле, на этапе массовой деидеологизации были отменены: государственная монополия на производство, интерпретацию и распространение идеологии, основные практики контроля и идеологических репрессий, официальная идеологическая символика. Кроме того, идеология была демонтирована все же более как официальная риторика, система институтов и

символов, чем как глубоко укорененная система идей и представлений. В сознании общества и в коллективном бессознательном, в толщах социальной жизни, в стереотипах индивидуального и массового поведения – везде остались глубокие метастазы. Дело в том, что многие марксоидно-лениноидальные, типично советские «очевидности» люди не связывают с этой конкретной идеологией, считая их нормальными, естественными и извечными представлениями и нормами. Во многих штампах, кажущихся общечеловеческими, многие из нас на самом деле до сих пор благоверные марксисты-ленинцы.

Далее, идейная демобилизация – не издание декрета о роспуске идеократии, а долгая, тяжелая работа – интеллектуальная, нравственная, организационная, политическая. У нас же сделали, как всегда: с людей сняли униформу, но не отучили ходить строем, а идеологическое оружие роздали желающим, в том числе разного рода теоретизирующим экстремистским формированиям. В результате на идеологическом фронте появились позиции, не укладывающиеся в рамки не только нормальной идеологической работы, но и хоть сколько-нибудь цивилизованной идеологической войны. У нас до сих пор о своих же доморощенных идеологических противниках часто изъясняются в лексике, достойной самого изуверского внешнего врага.

Иллюзия вторая: *«Идеология это ложное сознание, которое отменить можно».*

Как уже отмечалось, подобное в проектах деидеологизации наваяно той самой идеологией, которая без лишних затей противопоставляла «ложному сознанию» знание «истинное», якобы свободное от искажающей идеологичности. Но уже в интеллектуальной ситуации конца XX в. эта жесткая альтернатива выглядела безнадежно устаревшей – даже в отношении философий, критерием истинности которых признавалось не безупречное построение теории, а историческая практика. Оказалось, что такая практика сталкивается с обычными «убивающими» контрфактами, со столь же историческими пересмотрами и переоценками, как и в позитивной науке. Особенно ярко это проявилось в России, в которой, как нигде, начудило именно «научное» мировоззрение, в итоге оказавшееся одним из самых предвзятых и утопичных.

Идеология – это *Вера в упаковке Знания с акцентом на Знании, но в реалиях Веры*. Как только какое-либо знание становится убеждением, системой взглядов, стимулом к объединению и действию, всякая «истина» начинает жить по совершенно особым законам и критериям – по законам и критериям идеологии. В этом смысле идеология неустранима. Непрерывно поддерживать себя в состоянии снимающей идеологию жесточайшей, бескомпромиссной критической рефлексии невозможно даже просто физически (чем-то это напоминает неизбежное снижение концентрации в спорте, например, в теннисе или бильярде). И как только человек, общность или общество сподабливаются во что-либо уверовать, автоматическое возникает идеологическая ситуация, само *идеологическое*³.

При этом важно также учитывать, что, если идеологии нет там, где мы привыкли ее видеть, это не значит, что ее более нет вовсе. В том числе полезно также иметь в виду не только рационально оформленные, вербальные, дискурсивные формы идеологии, но также ее скрытые, вытесняемые, латентные формы, включая своего рода *идеологическое бессознательное*. Идеология сплошь и рядом более эффективно транслируется именно через образы, через средства управления настроениями, через эмоциональные каналы, подсказки действий и т. п. Причем это не обычная «социальная психология» и не простое вытесненное рацию, а именно *идеологическое* бессознательное, заставляющее человека вести себя так, *как если бы* он исповедовал определенные *взгляды*, имел определенные идейные *понятия и представления*, был носителем определенных идеологизированных *убеждений*. В отличие от обычных социально-психологических эффектов, такие понятия и представления могут быть рационально реконструированы внешним наблюдателем-аналитиком и прописаны в виде идеологии, «стоящей за кадром». Иными словами, человек может быть убежденным носителем идеологии, которую он вербально просто не выговаривает⁴.

Кроме того, в XX в. ряд фундаментальных методологических проектов показал, что эффект «теоретической веры» до конца не устраним даже из точной, позитивной науки, не говоря уже о знании гуманитарном и социальном. После афронта, случившегося со светлой идеей «Наука – сама себе философия», постклассическая методология относится к «идеологии внутри науки» не просто терпимо, но как к важной составляющей выработки, оформления и передачи знания. Неопределяемые понятия и базовые эмпириче-

ски не верифицируемые постулаты не могут быть элиминированы из теории в принципе, каким бы логическим и «логичным» позитивизмом такие проекты ни обосновывались.

Что же касается постнеклассической науки, то ее вынужденный диалог с обществом (который теперь ведется не с позиций «священной коровы», но с претензией на равноправие и с требованием публичного оправдания необходимости и самой возможности тех или иных исследований) оказывается и вовсе идеологичным в самом банальном смысле этого слова. Наука теперь обязана выстраивать идеологию собственного существования, что неплохо и почти само собой выходит у наук биомедицинского цикла, но гораздо хуже получается, скажем, у ядерной физики (пример ЦЕРНа, у которого проблемы не только с колайдером, но и с обоснованием общечеловеческой необходимости всей этой гигантской мировой складчины). То же относится и ко всем вновь обнаруженным и постоянно пополняющимся гуманитарным, социальным, правовым, этическим и т. п. аспектам производства и утилизации знания.

На этом фоне идея изъять идеологию из общественной жизни и естественного, повседневного оборота сознания выглядит и во все утопичной.

Наконец, любой антиидеологизм при строгом рассмотрении сам на поверку оказывается идеологией, часто весьма развернутой и основательно рационализированной⁵. Отсюда также вытекает необходимость более внятной интерпретации и своего рода идеологического обоснования введенного у нас *конституционного запрета на огосударствление идеологии*. Общество должно иметь на этот счет развернутые и внятные понятия и обоснования, а не лапидарные тезисы, текстуально переведенные в законодательные, более того, конституционные нормы. Но такие обоснования сами по необходимости окажутся идеологией – в данном случае *идеологией деидеологизации*.

Наконец, из такого конституционного обязательства многое вытекает для идеологической жизни на частном («партийном» и «партикулярном») уровне. А именно: критерии для размежевания идеологий, лояльных в отношении данных норм и метаидеологических принципов, и идеологий, по сути своей антиконституционных, присутствующих в сфере идеологически легального только по недоразумению. Иначе в стране начинают открыто пропаган-

дировать тоталитарные, профашистские идеи, тут же стеная об ущемлении свободы слова, нехватке эфира, моральном прессинге... и порой встречая при этом либеральное сочувствие.

Иллюзия третья: *«Идеология – это вредное сознание, которое отменить нужно».*

Здесь опять проступает знакомый образ идеологии как средства одурманивания одних другими в целях оправдания отношений господства, власти и подчинения.

Однако представление об идеологии исключительно как о «сознании для другого» не учитывает не менее развитых практик внутреннего диалога, диалога с собой, когда индивид выступает одновременно и идеологом, но и объектом идеологической обработки. Такое сплошь и рядом имеет место, когда человеку необходимо идеологическое (рациональное, моральное, функциональное и т. п.) обоснование его же собственных действий или положений, когда он активно обрабатывает свое же собственное сознание. Такого рода индивидуальная потребность во внутренней рационализации в полной мере распространяется и на социальные группы, фрагменты массы и общество в целом. При этом провести четкую границу между рационализацией «истинной» и идеологическим заблуждением оказывается крайне трудно, а в теоретическом смысле – невозможно. Желание ампутировать такие практики так же утопично, какими бы похвальными мотивами оно ни вызывалось.

Кроме того, без идеологии, нравится нам это или нет, немислимы многие базовые институты общества и государства.

Без идеологии не только не воюет, но и в мирное время разлагается *армия* – какие бы средства в нее ни вкладывали и какую бы палочную дисциплину в ней ни насаждали.

Школа без идеологии не может даже разлагаться: в учебных текстах она неизбежно воспроизводит суррогат государственной идеологии, даже если у самого государства этой идеологии нет и в проекте. Более того, даже если снять все откровенно идеологические высказывания, скрытая, латентная идеология проявится в самой фактуре текста – в корпусе имен и событий, примеров и иллюстраций (экземплификация), в повествованиях и интерпретациях (нарративы), наконец, в построении заданий. Кстати, последнее в отличие от многих нынешних интеллектуалов хорошо понимал Жданов, не без оснований уверявший, что для внедрения идеологии ему достаточно задачника по арифметике.

Возможно, в математике сейчас идеологическая (и даже просто воспитательная) составляющая и в самом деле ампутирована – хотя воспитательные эффекты от «деления яблок» все же остаются. Однако уже в преподавании самой обычной биологии зазор между, скажем, дарвинизмом и креационизмом является сугубо идеологическим и на практике выводит именно на идеологические инстанции, даже если таковые себя в качестве идеологических не идентифицируют.

Таким образом, деидеологизация требует, чтобы ее осуществляли хотя бы так и в той мере, как и в какой мере это вообще возможно. И не изображали идеологическое целомудрие там, где, на самом деле бурлит, пусть не всегда здоровая, но зато регулярная, активная, а главное неискоренимая идейная жизнь. «Отмена идеологии» – модернистский проект, еще в прошлом веке устаревший даже в качестве чисто интеллектуальной задачи. Более того, как уже отмечалось, неидеологизированные режимы сами нуждаются в обосновании: не обустроенный в идейном плане мировоззренческий либерализм вызывает подозрения в концептуальном бесплодии, а опустевшее место в сознании общества тут же занимают любители централизованного идеологического «окормления».

Таким образом, к идеологии в целом лучше относиться несколько более спокойно, с метапозиции. Либо общество имеет идеологию и работает с ней – либо идеология имеет общество как малорефлективную массу.

* * *

Отношение к идеологии и процессам деидеологизации может быть неоднозначным и в оценочном плане.

Положительные следствия начального этапа деидеологизации были очевидны: отмена цензуры (как института, так и самих практик «прореживания дискурса»), вспышка острейших концептуальных полемик. В культуре, в экономике и хозяйственной жизни стало много меньше идеологически мотивированного абсурда. В интеллектуальный обиход страны были возвращены целые пласты мировой и отечественной мысли. Это особенно важно, если учесть, что идеология работает не только тем, что в обществе говорится, но и тем, о чем стратегически умалчивается, чего «нет».

Причем такого рода красноречивое молчание и насыщенные пустоты важны не только в корпусе текстов: *идеологически несуществующее* может быть и текстами, и реалиями. Соответственно, вместе с идеями в это время были выведены из идеологического небытия и целые пласты проблемной, плохой действительности.

Вместе с тем, деидеологизация, бывшая одновременно и спонтанной и организованной, тут же породила ряд проблем.

Прежде всего, возникли дополнительные напряжения между поколениями. Причем дело даже не в том, что столкнулись идеологии разных поколений. Это, конечно же, имело место и переживалось достаточно остро, в том числе и потому что новая идеология не была достаточно внятно и убедительно артикулирована, а это, в свою очередь, консервировало старые идеологические клише. Но более интересной была другая претензия старого поколения к новому – обвинение в безыдейности *как таковой*. Характерное суждение того времени: если бы вы имели свои убеждения, отличные от наших, мы бы с этим смирились; но мы не можем смириться с тем, что у вас (в отличие от нас) вовсе нет убеждений, ради которых можно было бы... и т. д.

Наряду с этим провалы в идеологии резко снизили электоральную поддержку реформ. Это хорошо видно по оценочной стратификации электората того времени, по согласованности реальных жизненных изменений и отношения к реформам.

С теми, кто жить стал лучше и поэтому поддерживал реформы, все было ясно. Как и с теми, кому стало хуже и кто реформы не поддерживал. В целом это были электоральные монолиты. (Хотя и здесь есть большое поле для идеологических разбирательств, например, кого в первую очередь винить в своих бедах недовольным или как себя по-человечески вести в нынешней ситуации довольным – хотя бы из чувства элементарного самосохранения.)

Те, кто стал жить хуже, но, тем не менее, вопреки всему, продолжал поддерживать реформы, в идеологии извне не нуждались: они сами могли с кем угодно поделиться вполне внятными и осмысленным пониманием происходящего.

Основным резервом неустойчивости, пополнения электората и «правых», и «левых», власти и оппозиции (а значит, главным предметом политического дележа) были именно носители *благоустроенного недовольства*. Против реформ сплошь и рядом выступали те, кто в материальном отношении жил не хуже прежнего, порой

несравнимо лучше, чем раньше, кто прилично обустроился, но страдал оттого, что его привычная ценностная система находится в конфликте с новыми нормами и инструментами жизни. Кто, не бедствуя или даже преуспевая, оказался ничем «метафизически» не укоренен и не подстрахован в этом новом мире, кто не нашел достаточных оснований для таких немаловажных вещей, как самоуважение и признание. Наконец, кто действительно остро переживал идейную заброшенность, отсутствие неутилитарных смыслов и больших общих целей, не сводимых к сиюминутному личному благоденствию.

Если и этой реформе в России суждено было быть загубленной, то, прежде всего, метаниями этих людей – может быть, для кого-то и странных, но далеко не худших и заслуживающих уважения. Людей, которым дали «почти все», но при этом плюнули в душу, а потом уговаривали поддержать курс реформ, демократию и Президента-освободителя. В один прекрасный момент все титанические усилия по стабилизации в экономике могли обрушиться гиперинфляцией в «непромытых» мозгах. Тем более что идейная анемия власти особенно возбуждала разогретую сильными идеями оппозицию.

Идеологический фронт

Российское общество до сих пор пребывает в состоянии идейной необустроенности, но странного свойства. Расхожее представление об «идеологическом вакууме», кажущееся почти самоочевидным, на самом деле, отражает далеко не все, а многое просто путает.

Как уже говорилось, идеологии нет (или кажется, что нет) там, где мы привыкли ее видеть – среди верховных атрибутов власти и всеобщих духовных обязательств граждан. В остальном же наш так называемый идеологический вакуум набит до отказа. В идейной систематике страны собраны почти все виды, включая самые отвратительные.

На самом деле, уже в начале реформ впору было говорить о *кризисе перепроизводства* концепций и версий происходящего. В определенном смысле проблема была даже не столько в дефиците идей, сколько в растерянности общества перед их избытком. А главное – перед отсутствием общезначимых критериев и базовых установок, которые позволяли бы нормально ориентироваться в идеологиче-

ском пространстве и осмысленно выбирать позицию. Идейные комплексы в такой ситуации работают как чисто мифологические, а их выбор определяется сиюминутными политическими интересами и социально-психологическими аффектами. Но главное все же в том, что воспроизводилась старая установка: идеологический вакуум – это когда нет *единой, господствующей, государственной* идеологии, а не идеологий вообще. Не случайно отсутствие интегративной идеологии вменялось в вину именно власти, а не самой интеллигенции, в нашей традиции как раз и призванной производить идеологические ценности (часто называвшиеся «духовными»).

Более того, после недолгого периода более или менее осмысленных дискуссий в стране оказалась *разрушена сама идеологическая коммуникация*. Идеологии стали взаимонепроницаемы; при соприкосновении они производили не осмысленное звучание, а подобие грохота пустых жестянок. Не стало даже чисто внешних признаков полемики: тексты строились не в форме доводов, а в форме обвинений, идейных и нравственных инвектив. В такой ситуации люди даже не спорят, а просто пытаются перекричать друг друга – и при этом, естественно, друг друга не слышат, даже не стараются услышать. Идеологические конструкции в таком режиме строятся не на основе знания или хотя бы убеждения, а исходя из простой политической целесообразности. Господствует установка на победу любой ценой – как в шукшинском «Срезал». (Идеологический дискурс при этом становится насквозь демагогическим, причем в самом строгом смысле этого слова: демагогия, собственно, и есть ориентация не на Истину, а на Победу – любыми средствами и любой ценой).

Побед не бывает без войн. Осмысление происходящего быстро перешло в жанр идеологического убийства противника. Poleмика велась исключительно «на поражение». Идеологические оппоненты, будто забыв, что они, представляют одну нацию и одну страну, одаривали друг друга определениями, какими в 30-е гг. награждали «врагов народа», а в 40-е – фашистских оккупантов. Если перевести идеологические обвинения в правовые, то оказалось бы, что ситуация в стране сугубо подрасстрельная. Идеологическая риторика уже не имела запаса приговоров, оскорблений и убийственных ярлыков. Если бы случилось иноземное нашествие или начался новый братоубийственный конфликт, выяснилось бы, что в идеологическом языке страны уже не осталось запаса более сильных слов, способных выразить эти новые потрясения.

По сути дела, была развязана *гражданская война в сфере идеологии*. Страна жила в атмосфере доктринального взаимоуничтожения. Можно, конечно, было утешаться тем, что идеологические войны все же не так страшны, как настоящие. На самом же деле, это всего лишь проблема детонации. Стрельбу в октябре 1993-го мы *сами накричали*: без сильных эмоций и без слепого, безапелляционного убеждения в собственной правоте и радикальной неправоте оппонента просто так, да еще на виду у всех, в себе подобных не стреляют, ни с той, ни с другой стороны.

Путинская стабилизация положение изменила, но не столь глубоко, как кажется.

Прежде всего, власть установила достаточно жесткий и масированный контроль над идеологическим дискурсом. Однако идеи в этом плане совершенно похожи на болезни – лучше их не загонять внутрь. Правда, предохранительные клапаны для спуска «пара» были оставлены, причем как для либеральной фронды, так и для фашизоидных настроений, не говоря уже о коммуно-советской идеологии, которая благополучно здравствует, но то ли в запоевнике, то ли в резервации, то ли в добровольном изгнании. Тем не менее, организационное давление только усиливает контрдавление содержательное и концептуальное: при изменении социально-экономической, а затем и политической ситуации альтернативные идеологии можно неожиданно для себя обнаружить в гораздо более готовом, отмобилизованном и агрессивном виде, чем это кажется в пору навязанного перемирия.

Кроме того, снижение идеологической конфронтации самым очевидным образом было связано с недавней фантастической конъюнктурой на рынке сырьевых продаж. По сути дела, видимость идеологического перемирия стала следствием свертывания реальной политической конкуренции, а оно, в свою очередь, оказалось возможным, прежде всего, ценой регулярных *социальных откатов* от экспортных доходов. При всей неравномерности распределения этого вспомоществования между малообеспеченными слоями и по регионам сработали, прежде всего, сама положительная динамика и ожидания дальнейших улучшений, в последнее время явно перегретые. Однако важно учитывать, что этот эффект – реакции социальных настроений прежде всего на *динамику*, на *вектор* изменений – имеет и обратную силу: социальные напряжения нарастают даже не обязательно при развороте тренда в сторону ухудшения,

а уже при снижении набранных и обещанных темпов улучшения ситуации, при надломе самой позитивной тенденции. Поэтому социальные кризисы, переходящие порой в настоящие политические катастрофы, случаются не в нижних точках бедствований, а именно на выходах из коллапсов, при срывах наметившейся положительной динамики⁶.

Таким образом, мы имеем цепочку факторов, обеспечивающих, по крайней мере, внешнее снижение идеологических противостояний: экономических – социальных – политических – собственно идеологических. При этом трудно сказать, в какой мере именно экономическая стабилизация предопределила переход так и не разрешенного идеологического конфликта в латентную фазу. Точнее, трудно сказать, насколько в данном случае повлияли здесь другие факторы, помимо экономической стабилизации: социальная усталость от жестких противостояний, целенаправленное политическое подмораживание или результаты собственно идеологической обработки населения. Но точно также трудно с полной определенностью сказать, как именно поведет себя эта цепочка факторов в затяжном кризисе. Тем более что на бытовом уровне разночтения по целому ряду идеологических вопросов не только не преодолены, но и сохраняют свойство переходить в достаточно яростные полемические столкновения. Не исключено, что в той или иной кризисной ситуации мы можем стать свидетелями, если не участниками очередного фундаментального идеологического конфликта с выходом на трудно предсказуемые социально-политические последствия.

Как бы там ни было, с таким бронепоездом под парами даже вполне мирным людям жить просто опасно. Даже если обойдется – нация, в которой люди ненавидят и боятся друг друга, в историческом плане мало на что способна. Она сама себя стреножит, растрчивая энергию на бесплодную борьбу. Искандер сказал: «Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средств достижения истины превращается в самую истину... В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков».

При этом надо понимать, что благими призывами к идеологическому примирению и общественному согласию здесь не обойдешься. Необходима смена всего идеологического контекста, общей тональности идеологизирования, языка и предметов.

Но для этого необходимо заново пересмотреть наше понимание места и роли идеологии в государстве и обществе, критически оценить саму нашу идейную потребность, идеологические навыки и привычки.

Спор о том, нужна или нет идеология в России, бесперспективен, пока мы остаемся в рамках привычных, вообще говоря, сугубо советских представлений о том, что такое идеология и идеологии, какими они бывают и как они работают. Столь же бессмысленны попытки обмениваться предложениями разного рода идеологических конструкций, пока общество само себе не ответило на вопрос, почему именно оно до сих пор так и не обзавелось пристойной интегративной идеологией, несмотря на постоянные разговоры об этом и спорадические начинания. Наверное, дело не просто в отсутствии светлых голов, интересных мыслей и хлестких перьев...

Опыты реабилитации идеологии

На первом этапе реформ проблемы идеологии по целому ряду причин отошли на задний план в сфере внимания власти, общества и практической политики. Отчасти явная, отчасти подсознательная управленческая стратегия предполагала, что главное – *техническое* обеспечение реформ, позитивный результат которых в скором будущем сам сработает лучше любой идеологии. Оппозиция, в свою очередь, какое-то время была деморализована, пребывала в очевидном замешательстве; браться за идеологическое оружие для нее в это время, а именно сразу после тяжелейшего морального поражения, было и вовсе не с руки. Тем более, что оружие это было в основном старых образцов, никак не модернизированное, зато сильно траченое.

Сработало и то, что «идеология вообще» тогда естественным образом отождествлялась в нашем словоупотреблении с идеологией собственно коммунистической. То, что идеологии могут быть не только принципиально другими по конкретному содержанию и политической ориентации, но и совершенно других типов, другой этической наполненности и включенности в жизнь общества, тогда даже не подозревалось. К тому же считалось (а во многом и до сих пор считается), что западная модель экономики и политической организации общества, рассматриваемая в качестве един-

ственно цивилизованного образца, является принципиально анти-идеологичной, то есть держится не на идеологии, не на сознании человека и общества, а как раз на противоположном – на таких машинообразных факторах, как баланс материальных интересов, естественная саморегуляция, жестко и исключительно формально действующее право и т. д. Если бы кто-нибудь тогда процитировал одного из виднейших американских президентов, сказавшего: «Америка это идеология!», многие бы в это просто не поверили. Общественность наслаждалась идеологическим вакуумом, как школьник «пустым» уроком, неожиданно образовавшимся по болезни учителя.

И все же постсоветская деидеологизация оказалась не столь глубокой и долгой, как можно было ожидать, в том числе и организационном плане.

Почти сразу после победы на президентских выборах 1996 г. в ельцинскую администрацию был вброшен и был поддержан проект, связанный с поиском так называемой *национальной идеи*. В этом проекте, как в капле воды, отразились все основные проблемы и неурядицы нашей идеологической ситуации.

Прежде всего, общество (в основном в лице интеллектуальной и журналистской элиты) восприняло это начинание исключительно как проект *власти*, как желание очередного начальства сверху «окормить» страну Идеей, а то целой идеологией. Вопрос о том, нужна ли Идея *стране, самому обществу*, обсуждался куда менее страстно. При этом бурная активность по сочинению Идеи слишком часто выглядела как написание заявлений в Администрацию о готовности сотрудничать по линии идеологической работы (что накладывало определенный отпечаток на содержание и стилистику предложений). И наоборот, погромная критика самого этого проекта была, по сути, критикой власти, результатом предзаданной политической установки. Или, в лучшем случае, установки интеллектуальной. Поэтому во многом справедливые сентенции о том, что национальные идеи на госдачах по заказу властей не конструируются, сплошь и рядом исходили либо от политически ангажированных структур, которые в случае политической победы своих патронов немедленно занялись бы именно идеологическим конструированием, либо от отдельных персонажей, тут же проявлявших готовность на сходных условиях, чаще просто за статус, заняться ими же критикуемым выведением Идеи «из пробырки».

Считалось особо хорошим тоном сигнализировать обществу, что президент якобы намерен ввести новую Идею чуть ли не указом, но при этом сами сигнализаторы продолжали ковать свои варианты национальной идеи в виде, у которого могло быть только одно применение – отнести верховному начальству в надежде на принятие и официальное силовое продавливание.

Далее, в этой активности в полной мере проявились неизжитые постсоветским сознанием стереотипы «научной идеологии». Многие проекты и публикации такого рода более походили на обществоведческие трактаты, что подтверждало известную истину: орнитологи не летают. Обычно такого рода сочинения отличала та же непоследовательность: сначала утверждалось, что Идеи не конструируются, но «вызревают в...», а затем, в том же самом тексте, предлагались собственные, авторские конструкции как самой Идеи, так и ее концептуального оснащения.

Этот проект лишний раз подтвердил решающее значение двух ключевых составляющих идеологической ситуации: *общества*, заинтересованного (или не заинтересованного) в обретении Идеи или идеологии, и *инстанции*, способной (или не способной) Идею или идеологию обществу предложить таким образом, чтобы это хотя бы не было воспринято в штыки или издевательски. (В данном случае под «способностью» такого рода инстанции имеются в виду даже не столько ее креативные возможности, сколько отношение к ней со стороны общества: бывает, от любимой власти принимают глупости, а от нелюбимой или не слишком уважаемой – не принимают даже самые здравые и ценные идеи). В данном случае было достаточно очевидно, что отношение к власти вовсе не то, чтобы с одной стороны что-то высокоидейное и духоподъемное предлагать, а с другой – принимать. Более того, почти ажиотажный журналистский интерес к проекту подогревался большей частью именно готовностью от всей души «выспаться» на идеологическом проекте власти, которая особого пиетета не вызывала, но в то же время позволяла над собой любые печатные и непечатные измывательства.

В тот момент власти удалось удержаться от прямых – и заранее обреченных! – идеологических предложений. Материал, изданный группой, работавшей в «Волынском-2», содержал не «кремлевский» вариант Идеи, а анализ общественной дискуссии, поступивших или опубликованных предложений. Материал был выполнен по методике «идеологического конструктора», а именно: содержал

результаты деконструкции всего корпуса текстов на «атомарные» идеологические высказывания с последующей их сборкой по отдельным тематическим блокам в форме заочной полемики:

нужна ли Идея России вообще, а также здесь и сейчас?

каким образом она могла бы появиться?

какой она заведомо быть не может?

какие аналоги (прообразы) существуют в истории и мире, какие из них имеет смысл принимать во внимание?

в какой конструкции, в каком формате Идея может быть предложена и воспринята?

какие конкретные подходы, модели и формулировки в нашем случае конкурируют? и т. д. и т. п.

Отношение к данному опыту оказалось двояким. С одной стороны, это было оценено как разумный, продуктивный, в чем-то даже виртуозный выход из положения. С другой стороны, сам этот подход подвергся агрессивной критике. В нем увидели идеологическую импотенцию власти, неспособность дать убедительные предложения (в таких обвинениях активно отметились в том числе и эксперты, особо страстно настаивавшие на том, что Идеи в пробыках не рождаются и от власти не спускаются).

Кроме того, дискуссия о национальной идее выявила серьезные жанровые проблемы. Выше уже говорилось о формате трактатов и минитрактатов⁷. Наряду с этим особой популярностью пользовались трехчленные вербальные конструкции, модифицировавшие в либерально-демократическом, нео-патриотическом, великодержавном и т. п. ключах приснопамятную формулу «Православие, самодержавие, народность».

Здесь сказалось крайне зауженное представление о формах, в которых могут существовать Идеи. Спектр «национальных идей» разных времен и народов показывает, что это не просто идеи, отличающиеся *по содержанию*, – это зачастую *совершенно разные идеологические жанры*. Русская идея (от Третьего Рима Филофея и триады Уварова до идеи «красной империи»); британский империо-консерватизм, викторианство, англоцентризм; элементы американизма (American Dream, American Exceptionalism); «Канадана»; японская модель (Nihonron, Japanese Uniqueness); мобилизационные идеи «молодых восточных тигров» и т. д. и т. п. – все это не просто разные решения, но ответы на разные задачи, более того – сформулированные в *разных жанрах*, стилях и «видах»

идеологического искусства. Французская идея может быть разлита в естестве, в вине или моде – а на определенных отрезках представлена и в явно спланированной конструкции. Национально-государственные идеи Израиля или ЮАР делались именно кабинетно (сколько бы у нас ни писали, что Идеи в пробирках не рождаются). «Deutschland uber alles!» – эта славная идея существенно различалась по смыслу во времена собирания земель и в нацизме. Идея же послевоенной Германии (раскаяние и реабилитация немцев перед миром и самими собой через упорную работу и новый подъем страны) была исполнена и вовсе в другом ключе. И то, что называют «планом Бёлля» (по мудрым оценкам, значившим тогда не меньше «плана Маршалла»), есть в литературе, но не в виде специального документа.

В итоге наиболее активная часть идеологически озабоченной и журналистской общественности, получив вместо спускаемой сверху Идеи своего рода *портрет дискуссии*, обиделась на собственное отражение. Но как бы там ни было, репетиция с «национальной идеей» показала, что внедрять идеологию еще, слава богу, рано, но говорить о ней методично и более или менее спокойно – уже можно.

После некоторой паузы состоялся следующий этапный эксперимент в области реабилитации идеологии в России – эпопея с «суверенной демократией».

Здесь важно отметить ряд принципиально новых обстоятельств.

Начальные тексты, посвященные теме «суверенной демократии», были авторскими и при этом исходили непосредственно из системы власти. Правда, они подавались по преимуществу как частные произведения заместителя главы Администрации Президента, а не как тексты идеологического официоза. Однако отношение к ним с самого начала было в этом плане вполне определенным – при всей их подчеркнутой тематической, жанровой, стилистической и лексической неофициальности, порой даже отвязанности.

Далее, эти тексты были вброшены в ситуации, когда, во-первых, появилась-таки властная инстанция с признаками харизмы, способная изрекать нечто идеологическое без опасения впасть в откровенный комизм, а во-вторых, когда отторжение обществом всего идеологического уже перестало быть таким автоматическим и тотальным, каким оно было на заре деидеологизации и весь период ельцинского либерализма.

Наконец, эти тексты появились в момент, когда СМИ были взяты под контроль, когда уже была отстроена мощная машинерия политической пропаганды, а процесс партийного строительства был отработан технологически и запущен в лучших традициях.

Как бы там ни было, тексты были восприняты именно как попытка реабилитации официальной идеологии и ее вбрасывания, если прямо не на внедрение в школы, казармы и парткомитеты, то, как минимум, на прощупывание почвы.

Нельзя не отметить, что стилевые образцы, с которых бралась эстетика этих текстов, были достаточно продвинутые и вполне современные, местами даже постсовременные (в итоге текст о нашем *суверенном* оказался по языку одним из самых несuverенных, насыщенным англицизмами, латинизмами и модными нерусскими оборотами). В то же время, здесь в полной мере проявилось то обстоятельство, что идеология отнюдь не сводится к текстам, что в идеологической жизни контекст может делать со словами и фразами почти все что угодно, даже если они воплощены в «твердой графике». Как это обычно бывает с политически заряженными концептами, от этих текстов довольно быстро остались всего два номинальных слова: «суверенная» и «демократия», причем, естественно, с акцентом на слове «суверенная» (как на единственном, являющимся в данном концепте собственно информативным, т.е. несущим новую информацию). Далее в эту политическую оболочку стали вкладывать достаточно разные смыслы, порой весьма далеки друг от друга (но при этом исходному тексту, как правило, вовсе не чуждые). Начался естественный процесс дробления и растаскивания смысла. Разные интерпретаторы и недолгие последователи увидели здесь в частности:

демократию, которая утверждается в стране, озабоченной сохранением суверенитета на своей территории (проблема целостности, подававшаяся как особо актуальная, ввиду того, что умиротворение Чечни трактовалось как один из главных итогов путинского правления);

демократию в стране, которая вновь выходит на самостоятельную внешнюю политику и пытается найти свое место в новой глобальной архитектуре;

демократию, которая избавляется от финансовой зависимости и выстраивает самостоятельную экономическую политику, в том числе концептуально;

демократию, которая кроится по собственным лекалам, а потому просит западные классические демократии по поводу явных отклонений от классики не горячиться и в наши дела не вмешиваться ни уроками, ни деньгами.

При этом минимально осведомленные политологи тут же отметили, что термин «суверенная демократия» был в наше время брошен известным европейским политиком, который имел в виду всего лишь... вставшие на демократический путь развития осколки бывшего соцлагеря, вроде стран Балтии (что делало не вполне суверенными термин, идею, да и само место страны в новой политической классификации).

Соответственно, в зависимости от интерпретации разнились и оценки. Председатель Конституционного суда обратил внимание на то, что по Конституции Россия это государство, во-первых, суверенное, а во-вторых, демократическое, а значит, концепт в этом смысле безупречен. Вместе с тем, зампред Правительства, бывший в тот момент главным претендентом на роль преемника и местоблестителя, подчеркнул, что понятие демократии является настолько фундаментальным и самодостаточным, что любые его определения, включая эпитет «суверенная», неизбежно намекают на ограничение демократии, что вряд ли полезно. Это замечание, будучи не вполне корректным политологически (дополнительные определения применительно к демократии нередко применяются и их надежности не снижают), тем не менее, оказалось актуальным по ситуации: среди энтузиастов суверенизации нашей демократии более всего оказалось сторонников великодержавности, «своего пути» и агрессивного патриотизма. Единственный суверенитет, о котором не говорилось ни в исходных текстах, ни в их многочисленных толкованиях, это был суверенитет народа как единственного источника власти, как верховного суверена всякой неизвращенной демократии.

Какое-то время идеологему вешали на партийные транспаранты и метили ею программы, пытались подать уже не как эссе, а как доктрину, сделать лейтмотивом независимых экспертных работ и стратегических эскизов. Но довольно скоро и это все сошло «на нет», лишний раз продемонстрировав, насколько велика дистанция между текстами, похожими на идеологию, и собственно идеологией.

Возможно ли в наших условиях идеологическое действие позитивного характера – вопрос для отдельного анализа.

Примечания

- 1 В период расцвета застоя готовилось решение о том, чтобы в официальной и «научной» литературе впредь называть Маркса, Энгельса и Ленина не классиками, а основоположниками. Статус классика освобождался для Генсека (генсеков).
- 2 Строго говоря, Россия останется империей, даже если сожмется до границ Московской области. И, тем не менее, в этом плане разница между СССР и РФ огромная.
- 3 Строго говоря, это имеет место и в науке, аксиоматика которой и составляет ее идеологию (не говоря уже о мировоззренческих предпосылках, которые увязаны с позитивным познанием, хотя при этом часто не отслеживаются). История попыток выйти на свободное от идеологии (в этом смысле слова) познание закончилась в XX в., с крушением третьего позитивизма. Правда, в самой метанауке, как правило, обходятся без описания этой проблемы в терминах идеологии. Нам же здесь важно именно такая терминология, поскольку она позволяет увидеть тренды, объединяющие, например, позитивное познание и социальную практику.
- 4 При этом с точки зрения поведенческих эффектов на определенном этапе не так важно, совершают ли массы какие-либо социальные движения и действия под воздействием вербализированной идеологии или же идеологического бессознательного. Но при этом нельзя также не учитывать, что, втягиваясь в ту или иную социально-политическую бихевиористику, субъекты вырабатывают и предрасположенность к принятию соответствующих идеологических конструкций и в рациональной форме. Иными словами, если идеи могут рождать сильные эмоции и действия, то и наоборот, сильные эмоции и действия формируют определенную идеологическую предрасположенность, готовят обустроенное «место» под соответствующие идеологемы.
- 5 В определенном смысле здесь просматривается аналогия с теорией определения в логической семантике. Вопреки расхожим представлениям, логические определения не дают семантической полноты, поскольку неизбежно впадают либо в дурную бесконечность, либо в порочный круг, когда термин в конце концов определяется сам через себя. В составе каждой теории неизбежно обнаруживаются базовые неопределяемые термины, которые чаще всего и оказываются свернутыми носителями идеологии теории.
- 6 Здесь необходимо подчеркнуть, что это можно рассматривать как частное проявление более общей проблемы – негативных последствий экономического роста. У нас долгое время считалось само собой разумеющимся, что экономический рост несет с собой только положительные изменения. Однако среди множества специфических проблем роста отмечаются и такие, как резкое усиление социального и регионального расслоения, а также повышенная опасность дестабилизации при срывах роста. Впервые в нашей литературе о проблемах роста было подробно сказано... в последнем президентском послании Б.Ельцина Федеральному Собранию.

Для нашей интеллектуальной среды такая форма казалась едва ли не единственно возможной. Однако исторический опыт показывает, что это весьма специфическая, более того, довольно редкая форма обоснования и презентации идейных конструкций. Чаще Идеи генерируют харизматики, литераторы или поэты, духовные лидеры, провидцы, моральные авторитеты, сильные политики и т. п. При этом ни в каких «научных» подпорках такого рода идейные образования чаще всего не нуждаются. Не говоря уже о форме подачи, менее всего соответствующей жанру статьи, трактата, доклада или монографии. Если всю советскую эпоху «научную» идеологию у нас обслуживали ученые, в основном гуманитарии, то это не значит, что эта функция записана за ними (точнее за нами) и впредь, навечно, для любой другой идеологической ситуации. Более того, есть целый ряд аргументов в пользу того, что именно сейчас такая форма окажется наименее приемлемой, наименее соответствующей реальной идейной потребности – но зато наиболее конфликтующей с теми настроениями, которые вызваны устойчивой оскоминой от идеологического официоза недавнего прошлого.

В идеологических обоснованиях наука всегда имеет сугубо обслуживающую, несамостоятельную функцию. Чаще она играет роль своего рода алиби для нормального идеологического произвола. Наука в таких случаях – не более чем прикрытые спонтанных идеологических (и политических!) практик реальной власти. Типичная жертва авторитета в обмен на... При этом подобные ситуации возможны, как правило, только когда нации дозволена «одна наука» – одна школа, одно направление, одна парадигма, иначе говоря, одна идеология в науке. Обосновывающая «научную» идеологию наука может быть только «единственно правильной», непогрешимой, даже необсуждаемой. «Научность» идеологии покупается ценой предельной идеологизации знания. Но все это крайне затруднительно в условиях многообразия научных школ и направлений, активно конкурирующих на интеллектуальном рынке.